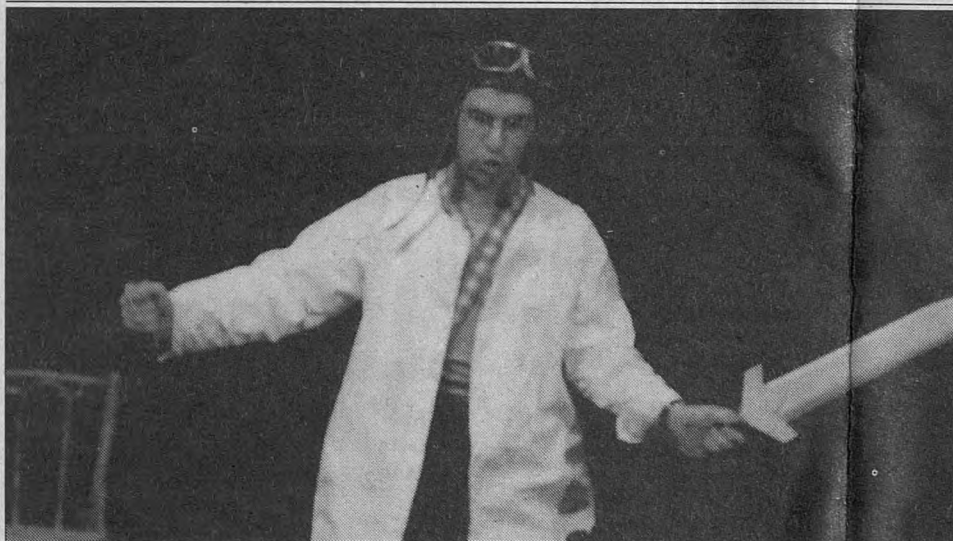


ОдноврЕмЕнно с миром

Алена КАРАСЬ



Ну, разве он не был прекрасен, этот день, когда Женя первый раз играл в Москве «Как я съел собаку»? Он уже давно существовал на белом свете, Женя Гришковец, вся страна от Охотского до Черного морей знала кемеровский театр «Ложа» по фестивалям любительского искусства, а Москву все еще не коснулась эта нежная кемеровская экспансия. Уже тогда, лет 8-10 назад, мы умирали от смеха на его спектаклях «Титаник», «Зима», «Было тихо».

Под плеск черноморских волн в Лазаревском тихо влюблялись в первого актера «Ложи» Пашу Колесникова, обнаруживая в его игре ровно то самое, что потом так покорило всех во время триумфальных гастролей Гришкова в Москве — смесь простодушия, убийственной иронии, «отмороженности» (излюбленное сленговое словечко 90-х годов), нежности и патетики. Из всех московских и российских театров тогда, на пороге 90-х годов только у «Ложи» слышался страстный вызов поколения. «Титаник» тонул на фоне кукольного театрального вырезанного из бумаги звездами, кораблями, под звуки губной гармошки, и вместе с ним — вся нелепая, фарсовая, мрачная и пламенная страна СССР, которая была на излете.

Гришковец и его команда работали концептуально. Но в отличие от московских концептуалистов они добавляли к своим пародийным эскападам ту долю серьезности и сентиментализма, какой не хватало больной от скепсиса эпохе. Год за годом кемеровская «Ложа» училась осваивать нежный, не скептический стиль, в нем вещи и чувства представляли без интеллигентской рефлексии 70-80-х годов: нежность как нежность, пафос как пафос, ужас как ужас, комическое как комическое. Советское оставалось советским, оно по делу осмеивалось всеми, кому не лень. Осмеивалось или отчаянно разоблачалось.

Только этот маленький кемеровский театр, пользующийся всеми доступными средствами инфантильного, детского искусства, обнаруживал внутри себя такую зрелую, не инфантильную свободу, которую мало кто мог себе тогда позволить. Ему как-то удалось снять оппозицию любви — ненависти. Он любил и ненавидел одновременно, не уничтожая ненавистью любви. Пока Борис Гройс и московские концептуалисты придавали сталинской эпохе черты грандиозного и единственного аутентичного для России стиля, работая с его омертвевшими осколками, маленький кемеровский театр создавал нежную, трепетную, полную неясной тревоги новую мифологию последних совков. Начиная кораблями, моряками, летчиками и звездами, она обретала свободу фантастического пейзажа.

Путешествуя по Сибири, ясно понимаешь, какой идеологической атмосферой проникнута вся история Гришкова и компании. Чувство огромных пространств, в недрах которых скрыты невиданные богатства, смирение и гордость первопроходцев и основателей, присущее даже совсем молодым людям, застенчивая, а иногда и развязно-агрессивная романтика обитателей Нового Света. Все это перемешано иногда с безнадёжностью и цинизмом. Но не в Гришковце. Вырвавшись силою собственной воли из это-

го сказочно-ледяного царства, он принялся растапливать сердца и языки московских сновов. Он стал играть один; от боли, тоски и опыта своей одинокой эмигрантской жизни в Москве он сочинил, в конце концов, историю о роковой службе на Тихоокеанском Военно-морском флоте — «Как я съел собаку». Боль потери — экзистенциальной и социальной одновременно — соединила его с публикой так сильно, как, может быть, умел только театр 60-х годов. Это было его ноу хау, и на него бурно откликнулась московская публика.

«Как я съел собаку» — патетическое, нежное, горькое и полное смирения обнаружение себя самого в чужом мире. Его герой — взрослый ребенок, рассказывающий не только историю своей службы на советском флоте в годы его заката (автор обозначил возраст героя 30-40 лет), но и своего взросления. Этот трогательный мальчик, переполненный самых разнообразных детских историй, рассказанных скрупулезно и пронзительно, пытается свернуться в клубочек от страха перед большим миром. Он хранит в своих мышцах память об обледенелых рукавичках детского пальца и о звездах, которые разворачиваются над головой, когда папа везет его на санках.

Этот мальчик нашел себя однажды взрослым, знающим, что можно одновременно жалеть собаку и с аппетитом есть ее мясо. «Новый сентименталист» Гришковец рассказал исто-

рию 30-летнего человека, который понял с неотвратимой ясностью, что дома больше нет, никакого дома. Как взрослый человек он отказался от стыдливого договора московских сновов никогда не упоминать слова «родина», «страна», и сумел рассказать, в том числе и о потере дома как родины.

К моменту, когда в Москве год назад появилась Гришковец, выросла огромная пропасть между тем, что говорил театр и что чувствовал молодой мир. Гришковец прорвал этот дикий нарыв, позволил распухнуть языку. Если хотите, он научил поколение говорить. Да, он наш, этот Женечка, отвечающий свое и наше детство, нашу бедную родину, наше отчество с «Легендой о динозаврах», картинками русской природы на телевизионных заставках перед долгожданными мультфильмами.

Никто не осмелился, как он, стать голосом поколения, сохраняя интимную подробность проживания собственной жизни, ее полную частность, рассказывая об ощущениях и мыслях, что не входят в горизонт театра. Нечто подобное предпринял и Виктор Шамиров в спектакле «Ничего особенного» с одной только маленькой разницей: он рассказывает о неособенной жизни московских отморозков так, точно она и вправду не имеет смысла, в то время как Гришковец именно этой частности заново, как когда-то сентименталисты, вернул небывалый, серьезный смысл.

Но чем более он настаивает на частном, предельно интимном характере повествования, тем сильнее его лирический герой превращается из Жени Гришкова в каждого из нас, в целую страну, отмененную раз и навсегда страну теней. Не прошло и 15 лет с тех пор, как она ушла в свое призрачное бытие, а Гришковец уже сочинил по ней нежнейший реквием. Утрата принесла ностальгию, из нее произошло искусство.

В чем феномен этого Жени? Его второй спектакль «ОдноврЕмЕнно» уже не связан так тесно с историей нашего поколения, с нашей общей судьбой. Это судорожная стенограмма разнообразных чувств, ощущений, но именно она приводит зал в редкое, даже забытое состояние единства. И там, и здесь Гришковец одержим манией — как почувствовать, как почувствовать и понять мгновенный укол реальности? Вот век новый приходит — как почувствовать? как почувствовать мгновенный переход, перемену состояния? С трудом говорящий, картаващий, предпочитающий полувнятное бормотание, точно поэт в мгновения поэтической боли, Гришковец тормозит вдруг на полном ходу, и посередине какой-то балканской музыки разворачивает перед нами картограмму вечности — серию стоп-кадров, позируя перед невидимым фотоглазом. Или движется в фантастическом танце, нелепо двигая руками в неподвижном воздухе.

Танец Гришкова — это гул вечности, которая проглядывает сквозь его нелепое тело, сквозь дрожащее марево его речи, судорожно пытающейся описать структуру мгновения. Как почувствовать одновременность всего происходящего, онтологическую одновременность бытия? Простой вопрос. Он и задается совсем простыми вопросами, и ответить на них пытается изнутри всей человеческой целостности.

Человек клипа, привыкший к тому, что его чувства, вся его жизнь озвучена музыкой кинофильмов и любимых рок-групп, несчастный отморозок конца века, потерявший большую идеологическую перспективу, современный человек находит себя в спектаклях Гришкова собранным по частям и вновь воссоединенным на основе собственного эмоционального богатства.

Он поет голосом Олега Анофриева песенку из мультфильма «Бременские музыканты» про то, как солнце взойдет, и публика со слезами на глазах смотрит на него и друг на друга, чувствуя нежность и любовь к себе самим, таким одиноким, оставленным, и таким хорошим, которым предьявлена сейчас вся их нетленная детская природа, и в чужой памяти воскрешены мельчайшие фрагменты их чувств. И так обнаруживается, что все люди составляют в каком-то смысле единое человеческое тело. Маленький человек Гришковец оказывается планетарным человеком, и это не понимают, но именно ЧУВСТВУЮТ его зрители. Как он и хотел.

● Евгений Гришковец
в спектакле «ОдноврЕмЕнно»

Фото В.БАЖЕНОВА